

Сергей Попов

РОДИНА КИНО

•

Чернеет лист в окне,  
налипший на стекло.  
И сыростью извне  
нутро заволокло.

За средостеньем стынъ,  
в миндалинах огонь.  
Бумагу отодвинь,  
стекло ладонью тронь.

И вена с черенком  
кромешно совпадут —  
сосудистый закон  
гудит и там, и тут.

Не в черном дне беда,  
не в голых сучьях боль.  
К прощанью навсегда  
готовиться уволь.

Зане ничьи уста  
не выпьют эту мглу —  
верна ладонь листа  
продрогшему стеклу.

•

Дурной мотор хрипит и воет,  
соляркой харкает, сбоит.  
Но если нас в кабине двое —  
на том и свет оплечь стоит.

Осклизлой осени подарки —  
одни бараки вдоль реки.  
Но взгляд простуженной товарки  
победен хвори вопреки.

По обе стороны — до неба  
одна горелая стерня.  
Но неминуема потреба  
полета прочь на склоне дня.

Чернеют баки и комбайны,  
колхозом брошенные встарь.  
Как ни крути — необычайны  
края, где гибнет инвентарь.

Поет и ноет колымага.  
Фырчит и чванится движок.  
Он в перебежках до сельмага  
не все горячее дожег.

И помогает папироска  
в кривой усмешке угадать  
и блески стершегося лоска,  
и близкой ночи благодать.

Ежесезонной разнарядки  
поздnezастойные круги  
перемещают сердце в пятки  
ступившим жить не с той ноги.

Но что им пепельные пятна  
по весям прежних лет и зим,  
когда становится понятно,  
что не закончится бензин.

•

Чуть что — и блажная актерка,  
чьи крылья блестят под луной,  
шутя доведет до отека  
и боли с утра головной.

Мой ангел субботнего мрака,  
воскресных кровей мятежа —  
вся чистого света атака,  
томительной яви межа.

Поводит ошипанной бровью  
и душу до дна пепелит  
на горькое горе здоровью  
хулителя местных элит.

Они не в ладах с Мельпоменой —  
дуркует Меркурий в крови —  
и дурью своей неизменной  
кошмарят мою визави.

Пусть не по нутру это место,  
где чахнет давно и всерьез,  
до сивых проборов невеста,  
до смеха питомица слез —

но ей за державу обидно,  
за праведный пафос внутри —  
щетинится точно ехидна,  
сколь правильно ни говори.

И леж в обнимку с Морфеем,  
не растолковать до утра,  
что в нашей аптечке имеем  
одно чумовое вчера.

И не переводится каста,  
чья правда — отрава одна:  
она — никакое лекарство,  
но воспаляет до дна.

•

Черный день до белой горячки прожит.  
И жильцов уютжит, ведет, корежит.  
А в зрачках торчит гробовой Хичкок,  
грузен, стар и лукавоок.

Прямо в душу смотрит, нечистоплотен.  
Что за прок от его чумовых полотен —  
здесь своим угребищам несть числа —  
блекнет классик жуткого ремесла.

Здесь они чешуйчатые, злые, летучи.  
Наполняют сны, прободают тучи  
по краям короткого забытья  
облысевших мальчиков для битья.

Эти зрители всей гулевой эпохи  
на ее излете куда как плохи —  
и мотор бастует, и глаз в слезе,  
и на прежней фиги цветут стезе.

Неземной цветок в плотоядной пасти —  
дышит Хронос гарью, шампанским «Асти»,  
и холодным потом всю разит  
от вонзивших зенки в его транзит.

Закурить бы «Данхилл» и честь по чести,  
как глотали жизнь в этом гиблом месте,  
с иностранным флером заснять кино —  
будто пленка с памятью заодно.

Но кружатся ящеры, ржут химеры  
в раскадровке счастья вчерашней эры.  
Прянь в загранку, вены ли отвори —  
стеклотара высохла изнутри.